

ПАМЯТИ  
ДЕТСТВА

Лидия  
Чуковская

# *Памяти детства*

Мой отец –  
Корней  
Чуковский

**Волчок**  
Москва  
2019

УДК 821.161.1-3  
ББК 84(2=411.2)6-4  
Ч88

Мы благодарим сайт *Terijoki.spb.ru*  
и его модератора Александра Браво  
за помощь в поиске видов Куоккалы  
начала XX века.

- © Чуковский Д.Д., 2019
- © Бокариус В.Н., наследники, 1989
- © Наппельбаум М.С., наследники, 2019
- © Лукьянова И.В., послесловие, 2019
- © Составление, изд. оформление,  
ООО «Издательство Волчок», 2019

ISBN 978-5-907180-04-8

*Я, впрочем, вовсе не бегу  
отступлений и эпизодов, –  
так идет всякий разговор,  
так идет самая жизнь.*

А. Герцен. Былое и думы

Тогда, в нашем детстве, в Куоккале, он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату – в дверях голову непременно наклонит: не ушибиться бы о притолоку! Посадит к себе на плечо – с высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. В оттепель подпрыгнет и лыжную палкой легко собьет сосульки с балкона второго этажа, а с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится: протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукий, длинноногий, узкий, длинный. Кто выше его? Нет такого! Им, его длиною, можно измерять заборы, ели, сосны, волны, людей, сараи, деревья, высь и глубину. Рост его был нам выдан судьбой как некий аршин, как естественная мера длины. Сидя в лодке и потрагивая через борт прозрачную серую воду, мы прикидывали, бывало, на глаз: а если считать до глубины, до самого-самого бездонного дна – сколько тут окажется пап: шесть или больше? «Да что ты! Какие шесть! Не меньше двенадцати будет!»

Это в море.

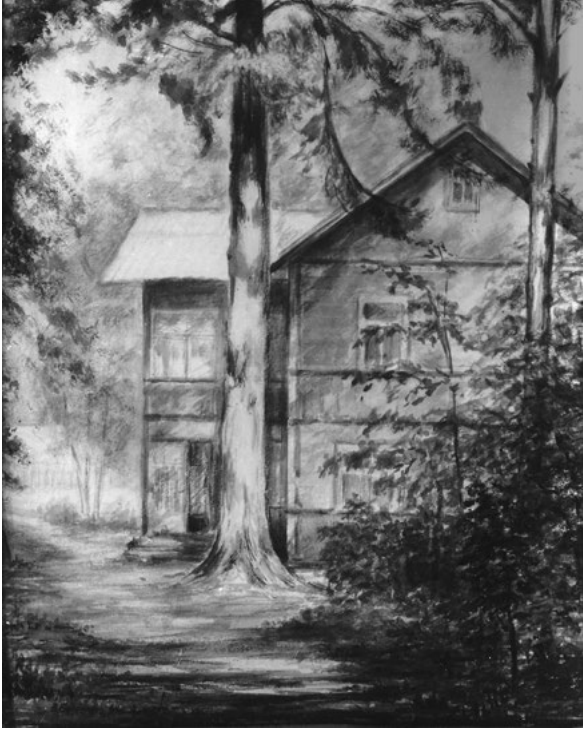
В лесу же, задрав головы перед высоченной сосной:

– В этой-то уж наверняка десять пап! Если от земли до макушки!

Корней Чуковский  
с детьми. На коленях  
отца – Боба,  
за ним Лида,  
справа Коля.  
1913 год, Куоккала



I.



Дача Чуковских  
в Куоккале.  
Рисунок В. Бокариуса.  
1965 год

*22 июля Вера Коленька долго смотрела из моего окна на сосну и сказал: «шишки на дерево полезли как-то». Он привык видеть их на земле».*

*22 июля [1907].*

*Вера Коленька долго смотрел  
из моего окна на сосну и сказал:  
«Шишки на дерево полезли как-то».  
Он привык видеть их на земле.\**

---

\* Здесь и далее приводятся отрывки из дневников К.И. Чуковского 1907–1919 годов. Рукописные фрагменты воспроизводятся по дневниковым тетрадям из архива семьи Чуковских. Расшифровка дана по изданию: Чуковский К.И. Дневник. В 3 т. Т. 1: 1901–1921 / сост., подгот. текста, коммент. Е. Чуковской. М.: ПРОЗАиК, 2012.

Ноги у него великанские; какие сапоги ни купит себе в Выборге или в Петербурге – все не впору: малы. Узки. Коротки. Жмут. Натирают мозоли. Опять отдавать на растяжку сапожнику! Хоть примеряй тот, огромный, рыжий, что висит для рекламы под вывеской обувного магазина на станции. Да вот беда: тот, если бы сгодился, рассчитан на какого-то одноногого великана, а у нашего, слава тебе, Господи, две ноги, не одна.

И походка, и повадки у него великанские. Не только дети – взрослые едва равняются с ним. Шагает по песку вдоль моря, а я рысцой бегу рядышком. На один его шаг – пять моих мелких шажков. И с вещами обращается по-великански: норовит утащить их к себе в высоту. Молоток ли в доме пропадет или щетка – подставляй стул, ищи на крыше буфета или платяного шкафа: он, мимо идучи, там оставил. Ему на высоте сподручнее. А чих у него какой! Не люди – дача вздрагивает! А фырканье какое, когда умывается! Намылит щеки, грудь, шею и фыркает. Будто в фырканье главное мытье и есть.

Узкий, длинноногий и длиннорукий, подбрасывающий к потолку и ловящий без промаха палку, тарелку, кого-нибудь из нас. Тощий, но сильный; любит веселье и любит и занозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затесаться в нашу игру или изобрести для нас новую.

До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось в ту пору года три, до второй – около десяти, им не была написана еще ни единая строка для детей, но сам он, во всем своем физическом и душевном обличье, был словно нарочно изготовлен природой по чьему-то специальному заказу «для детей младшего возраста» и выпущен в свет тиражом в один экземпляр.

Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр получили в собственность. И, словно угадывая его назначение, играли не только с ним, но и *им* и *в него*: лазили по нему, когда он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали

с его плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или проползали между расставленных ног, когда он объявлял их воротами. Он был нашим предводителем, нашим командиром в игре, в ученье, в работе, капитаном на морских прогулках и в то же время нашей любимой игрушкой. Не заводной – живой.

Впрочем, хотя детских книг он тогда еще не писал, веселые стихотворные строчки, обращенные к детям, сочинялись им уже и в те времена, однако всего лишь для домашнего употребления, играючи, походя. Он тогда еще не записывал их в толстые тетради, как впоследствии, не соединял в стихотворения и поэмы, не обрабатывал месяцами, а то и годами, прежде чем передать редакции, не читал ни в школах, ни в детских садах, ни в больницах, ни в многолюдных залах среди белых колонн. Это были импровизации, домашние экспромты, однодневки – всего лишь.

*...Лидо-очек,  
Лучшая из до-очек! –*

говорил он мне вкрадчивым, певучим, тоже каким-то длинным голосом. (Я же была так мала и глупа, что не могла догадаться, почему это я называюсь «ездочек»? Разве я на чем-нибудь езжу?)

Или весело рычал, топая на меня великанскими ножищами:

*– Ах ты, скверная девчонка!  
Ка-ак болит моя печенка!*

– Папа, – говорю я, переминаясь от нетерпения с ноги на ногу, понимая, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним, – папа! Посади меня на шкаф.

Он отступает на шаг. Грозно глядит со своей высоты. Наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец.

– Учишь вас, учишь! Проси как следует.

Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов: пострашней, поужасней, а кончилось чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошу не куда-нибудь, а на вершину высоты, под самый потолок, на шкаф.

– Глу-бо-ко-у-ва-жа-е-мый папаша! – говорю я по складам, как положено в этой игре. – По-са-ди меня, пожалуйста, на шкаф!

– То-то же! – Палец исчезает. – А вниз не запросишься?

– Нет.

– Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу?

– Жить на шкафу.

Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь. И закрывает за собой дверь, чтобы страшнее.

Я сижу. Мне страшно. Как чужие, болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаюсь одним глазом заглянуть туда, вниз, в пропасть. Там, на полу, желтый линолеум с черным узором. Вот упаду и разобьюсь вдребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф! Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать... Все купаются, играют в пятнашки, и он вместе с ними... а я? Я живу на шкафу. И никогда, никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит, и никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье!

– Папа!

Молчит.

– Папа!

Не отвечает. Ушел, забыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь...

Глядеть вниз – страх пробирает. Вверх – тоже, там потолок, там самая и есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам.





Коля, Боба (на руках у няни), Корней Иванович с Лидой и Мария Борисовна. Фотография К. Буллы (фрагмент). 1911 год, Куоккала

Выше. Еще. Еще выше! Но тогда он сам стоит под сосной и командует, и можно держаться за его голос.

Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна.

— Глубокоуважаемый папаша, — пробую я, ни на что не надеясь, — сними меня, пожалуйста, со шкафа. Мне здесь не понравилось жить. Пожалуйста!

Его шаги! Он тут! Он только притворялся, что ушел далеко! Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу, где все люди, и могу бежать куда хочу.

Рукам его довериться можно вполне. Вовремя подхватят, никогда не уронят, не сделают больно. Правда, завязать мне капор под подбородком, или всунуть в свои манжеты запонки, или изжарить яичницу, выгладить рубашку, упаковать чемодан — руки эти никогда не умели. Такие длинные, гибкие пальцы — а этого они не умели. Но вот

подбросить чуть не до потолка меня или нашего младшего, Бобу, швырнуть нас обоих на диван, чтобы посмотреть, высоко ли нас подкинут пружины, — это для них нипочем. Взлетай, падай, не бойся: вовремя подхватят и удержат. А мучительства! Любимая наша игра. Уше-вывертывание. Голово-отрубание. Пополом-перепиливание (ребром руки поперек живота). Шлепс-по-попс. Волосо-выдергивание... Надежные руки, большие, полные затей, с чисто-начисто промытыми круглыми ногтями. И всегда, даже на морозе, горячие.

...Вот, по Большой Дороге мы возвращаемся с ним вместе со станции. Ходили вдвоем на почту. Мороз градусов тридцать. По обеим сторонам пустые дачи, стреляющие промерзшими досками; заваленные снегом клумбы; утонувшие в снегу колья заборов. Снега, снега по обочинам Большой Дороги, а посередине бежит, сверкая слюдяным блеском, Мороз незримой плотиной в воздухе. Почему это снег называется белый, когда на самом деле он синий, розовый, цветной, искрящийся? Но сегодня мне и снег не в радость. Я стыну. Замерзли губы, брови, лоб. Даже зубы. А ноги? — ног у меня просто нет. А ему мороз нипочем. Для него и сейчас жара. Пальто распахнуто, руки без перчаток, уши барашковой шапки развязаны. Я, укутанная, плачу от холода. Меня пробирает дрожь, словно я не в шубе, не в капоре, не в платке, не в гамашах, а в летнем платьишке. Плачу сначала потихоньку, потом все громче и громче, и от горячих слез мне становится еще холоднее. Он берет меня на руки, стягивает с меня промерзшие боты, засовывает боты в один свой карман, обе мои ноги в другой и опускает туда свою горячую руку.

Тесно. Счастливая теснота.

Через минуту, зажатые в его ладони, мои пальцы и пятки оживают, заражаясь его неистощимым теплом, прогреваются насквозь, горячают, словно мы уже дома и я уже

примостилась в столовой у белой кафельной печки, где в квадратной пасти пышно тлеют березовые уголья.

Так он и несет меня сквозь мороз по дороге: обе мои ноги в тесноте его кармана, под его огромной, жаркой рукой.

В куоккальские времена всю черную мужскую работу по дому он делал сам. Сам воду носил, колол дрова, топил печи. Сам был за кухонного мужика и за дворника; разметал метлой лужи, или ломом скалывал с крыльца лед, или деревянной квадратной лопатой прокладывал дорогу от крыльца до калитки: узкую яму среди сугробов. И мы, с маленькими лопатками, следом за ним. Идешь по этой глубокой канаве, уравниваешь лопаткой бока; тронешь боковой вал рукою и сквозь шерстяную перчатку почувствуешь, как колет-ся снег.

Когда-то, одесской полуголодной юностью, случилось ему работать в артели маляров, и он навсегда сохранил пристрастие к превращению старого, обшарпанного забора в новенький, молодой, только что обласканный кистью. В этой работе было что-то праздничное. Аппетиту, с которым он красил забор или ящик, помешивая кистью густую зеленую кашу, могли бы позавидовать сподвижники Тома Сойера. И уж, разумеется, неистово завидовали мы. А он – по-том-сойеровски! – снисходительно предоставлял нам это редкостное счастье: мазнуть! Зеленой краской мазнуть разок по калитке.

– Стань передо мной, как лист перед травой!

Он вручает мне кисть с торжественностью, словно монарх, передающий наследнику скипетр.

– Держи ровно! Не капай! Не капай! О-о-о, как я страшен в гневе!

Руки его, никогда не умевшие повязать галстук или пришить пуговицу, прекрасно справлялись с грубой, простой работой – сбросить ли с крыши снег, распилить ли бревно – и, как это ни странно, не умея вдеть нитку в иглу, с истинно жонглерской ловкостью показывали фокусы. Да, вот вдеть

запонки в манжеты было для него делом непостижимым, а солонкой жонглировать – пожалуйста. Поставит на ладонь полную соли солонку, круто наклоненной ладонью совершит полукруг в воздухе; и не только сама она, словно гвоздями приколоченная, не падает на пол, но даже и соль каким-то чудом не сыпется.

Да что солонка! Его слушались стулья.

Стул покорно стоял минуты две на указательном пальце – и не падал. Жонглер извивался, приплясывал, гнулся, удерживая стул от падения, а стул благодаря этим извивам не падал, стоял. Ножкой на указательном пальце.

Еще была палка. Короткая толстая дубина. Он подбрасывал ее и ловил, бросал и ловил, все быстрее, быстрее, быстрее; она кружилась в воздухе как толстенная спица, а потом он внезапно бросал ее в грудь Коле, моему старшему брату, или ошеломленному гостю, требуя, чтобы они не отклонялись от палки, а ловили ее на лету и кидали обратно. Сам же стоял в ожидании удара, расправив узкие плечи и выпятив грудь. «Вот грудь моя – рази!» Но сразить не удалось никому: длинная рука перехватывала палку на аршин от груди и снова запускала в противника.

Греб, плавал, нырял, ходил на лыжах... Бурно двигался на воздухе, в игре и в работе, среди волн, песков, детей и сосен.

Игру он любил и уважал чрезвычайно, не проводя при этом отчетливой грани между игрой и трудом. И во всякий труд норовил втянуть ребятишек, превращая для нас в игру всякий труд. На воле и дома.

Скромные наши владения лишь условно могли быть названы садом; скорее это был елово-сосновый перелесок, каких так много в Куоккале. С двух сторон наше поместье отделено было от соседей забором, с третьей стороны – водою ручья, с четвертой, от берега моря, его не отделяло ничто. Наши сосны свободно выбегали на желтый прибрежный песок, за которым – града корявых и округлых камней, то скрываемых

пенной, то сухих, надежно прогретых солнцем. Летом, в жару, земля наша была скользкой от хвои; иглы елей да сосен, пни да шишки да змеящиеся ползучие корни, о которые мы в кровь разбивали босые ноги. Лесок как лесок; а сад, собственно, только возле крыльца: одна клумба, да две посыпанные песком дорожки, да грядка настурций вдоль веранды.

Лесок как лесок, но хоть и был он скромненький, а доставлял Корнею Ивановичу немало хлопот.

Оборонять его приходилось от двойных набегов: медленных, коварных – ручья и бурных – морских.

В обороне принимали участие и мы.

Ручей имел обычай исподтишка, постепенно отмывать из-под сосен нашу беззащитную землю. Корней Иванович, обнаружив убыток, начинал с неистовством залечивать нанесенную рану, таская с берега моря песок, мешок за мешком, на спине, не хуже заправского грузчика, а мы на бегу поспевали за ним, кто с лейкой, кто с ведром, кто с кастрюлей. Команда – и весь песок: «Раз, два, три, глаза закрой, с-сыпь!» – мигом сыпается в воду.

Чтобы обороняться от ручья, достаточно было песчаной запруды; от моря не спасали и камни.

Каждую осень, в ожидании предстоящих бурь, выловив багром из моря штук десять принесенных из Кронштадта плетеных корзин (такой ширины и такой вышины, что Коля, Боба и я, все трое, забирались в одну), он расставлял их на берегу вдоль сосен, рядком, надеясь защитить участок от неминуемого набега волн; и каждую корзину доверху собственноручно наполнял камнями, что было отнюдь не легко: десятки раз надо было проделать путь с берега к корзине и обратно.

Так и вижу его: идет по песку, в закатанных штанах, босиком, руки над опущенной головой и в каждой руке по увесистому камню. Глядит себе под ноги, боясь споткнуться: камень однажды, сорвавшись, чуть не перебил ему стопу.

Мы за ним, тоже с камнями, все, даже маленький Боба. Тоже – глазами в землю.

Он остановится возле корзины, подождет нас — камни над головой, — мы станем кругом.

— Бросай! — скомандует он, и с каким веселым грохотом грянутся камни в корзину! Ради этого грохота мы и трудились — несли... Игра это была или труд?

Таких слов, как «спорт», «соревнование», мы из его уст никогда не слышали, но он научил нас и на лыжах, и на финских санях — «поткукелке», — и грести, и плавать. К лыжам мы привыкли не менее, чем к валенкам или рукавицам: выйдешь на крыльцо — и сразу ноги в ремни.

Сам он отлично играл в эти древние игры: лодка, лыжи, сани. И зимний парус.

Помнится, единственный во всей округе, умел он летать под парусом по замерзшему морскому простору в те зимние, тревожные дни, когда залив, дочиста подметенный ветром, светится зелеными проплешинами льда. Ветер гнал эту беззаконную бабочку по льду залива, на страх лошадям, волочившим тяжелые возы со льдом, только что вырубленным из проруби. Лошади шарахались в стороны, рискуя опрокинуть свой зеленоватый хрусталь, а возчики долго еще грозили собранными в кулак вожжами этому внезапному парусу, неведь откуда принесенному ветром.

В самом деле, диковинка: человек стоит на особенных каких-то лыжах, со стальными короткими полозьями под каждой ступней; стоит, ухватившись за скрещенные у него за спиною палки, на которые натянут квадратный холст. Стоит — и летит.

В те дни, когда ветер был особенно мощен, Корней Иванович пристраивал парус не к лыжам, а к «поткукелке». Мы садились в сани: Коля, а я ему на колени. Или я и Боба. Когда, нахлебавшись колючей стужи, мы возвращались с открытого берега в наш прикрытый деревьями сад — здесь, под защитой елей и сосен, в двадцатиградусный мороз нам казалось не только тепло, но душно. Насквозь каждая жилочка промыта была и обновлена стужей. А среди сосен духота.

4 февраля [1914]. Сейчас ехал с детьми от Кармена на подкукелке. «Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства, — говорит Коля. — Дача Максимова — первое замечательство. Дом, где жила Паня, второе замечательство. Пенаты — третье замечательство».

4 февраля. Сейчас ехал с детьми от Кармена на подкукелке. Она ~~всегда была скорей~~ «Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства» — говорит Коля. — Дача Максимова — первое замечательство. Дом где жила Паня — второе замечательство. Пенаты — третье замечательство.



Под зимним парусом на заливе. Впереди — Лидя, за ней Коля и Корней Иванович. За ними справа — художник И.И. Бродский, слева — Павел Колляри. 1909 год, Куоккала



Мы поспешно развязывали тесемки под подбородками, расстегивали крючки на воротах, рассовывали по карманам рукавицы. Как и он, в эту минуту мы испытывали презрение к морозу: кто это выдумал, будто сегодня мороз? Жарища!

Все он умел для нас — даже играючи обратить мороз в жару.

Летом нашей любимой работой были постоянные походы к Репину в «Пенаты» за водой.

Вода в колодце на нашем участке годилась для стирки, для поливки цветов, для умывания, но для питья не годилась. За питьевой мы и ходили в «Пенаты». Там был артезианский колодец.

«Айда!» – и работа (или игра?) – начиналась.

Я бежала в сарай за палкой. Коля, позванивая, уже нес ведро. Боба, который давно уже понимал каждое наше слово, но сам не устаивал никого ни одним, первый хватался за конец палки, боясь, как бы не ушли без него. Мгновенно оказывались возле нас наши приятели финны: Матти, Павка, Ида.

Эти походы к Репину за водой были через много лет описаны Корнеем Чуковским в книге «От двух до пяти». А тогда он сам шагал по дороге рядом – долговязый, дочерна небритый, в старых штанах, худой и веселый, взрывая босыми ногами клубы теплой пыли с таким же удовольствием, как мы.

Вот и резные ворота «Пенатов». Он открывал их без скрипа и, вытянув губы трубочкой, громким свистящим шепотом требовал, чтобы мы замолчали. Репин работал, тишину мы обязаны были соблюдать полную. Еще и до ворот, едва достигнув репинского забора, он шикал не только на нас – на прохожих. А уж в саду! Чуть не на цыпочках выступал перед нами, гневно оборачиваясь на каждый шорох. Мог и за плечо тряхануть ослушника.

Молчание давалось нам нелегко, но от напряженности этой тишины нам становилось еще веселее: выходило, будто мы не брали воду у Репина, а крали ее.

Без звука вешал он ведро на округлую шею крана, а потом снимал и ставил на крупный гравий. Теперь наша очередь.